



## **А. И. БЕЛЕЦКИЙ**

### **Комментарий к «Истории одного города»**

<Фрагменты>

<...> Замысел «Истории одного города» вырос у Салтыкова органически, и каким-либо «образцам» при формировании его не могло принадлежать большой роли. Едва ли можно приписывать ее и тем, ныне забытым, попыткам «исторической сатиры», которые мы находим, например, в... «Искре». Годом раньше напечатания сатиры Салтыкова в «Искре» появилась «Краткая история Петербурга, составленная по разным источникам без указания на оные». Подписанная буквами А. В., она принадлежит перу сотрудника «Искры» А. Н. Иволгина. Разделена она на четыре части: 1) времена баснословные (Петербург до сотворения мира; образование нашей планеты и т. д.); 2) древняя история; 3) Средние века и 4) времена новейшие. Кое-где в этой, не очень острой, пародии русской истории XVIII века разбросаны и злободневные намеки — по существу, столь же безобидные, как и целое. В. В. Гиппиус, указавший на эту параллель, замечает: «Отсюда до грандиозного замысла истории Глупова, конечно, далеко, но на пути от пушкинского Горюхина до щедринаского Глупова свое место может занять и “Краткая история Петербурга”, конечно, в окружении всего, что может быть здесь привлечено из более ранней литературной истории аналогичных замыслов» (Литературное окружение М. Е. Салтыкова-Щедрина // Родной язык в школе. 1927. № 2. С. 75–76). Возможно, но «аналогичным замыслам» принадлежит, во всяком случае, очень скромная роль в созидании Салтыковым его сатиры.

<...> Если фигура «Издателя» осталась у Салтыкова едва очерченной и не получила дальнейшего развития — образ другого посредника между подлинным автором и читателем — Архивариуса-Летописца — вызвал у него несколько большее внимание. <...> С пушкинским Белкиным у него нет ничего общего. Он, как мы узнаем из его соб-

ственных слов, последняя спица в канцелярской колеснице: «судельный сосуд», получающий два рубля медных в месяц и по самой своей должности не имеющий шансов этот свой праведный доход сколько-нибудь приумножить доходами неправедными. Это, быть может, дальний родственник гораздо более острого умом Зиновья Захарыча Гегемониева (1859; из серии «Невинных рассказов») — выгнанного из службы подьячего, «видом худенького, маленького, всего изъеденного желчью». У Архивариуса тоже есть «желчь», но она прикрыта усерднейшим славословием. Из школы, в которой он, вероятно, так же, как Гегемониев, «немало-таки розгачей и мученических венцов, просвещения ради, принял», и из чтения старинных актов вынес он склонность к высокому слогу, и уже начальная его параллель между древними эллинами, слагавшими хвалу своим безбожным начальникам, — и нами, «христианами, от Византии свет получившими», — свидетельствует о его любви к историческому чтению.

Образец этой параллели определить нелегко: быть может, она вдохновлена предисловием Карамзина к первому тому «Истории государства Российского», где «дееписания древних» сопоставляются со «случаями, картинами, характерами нашей Истории» (см.: История государства Российского. Изд. 5. 1842. Кн. 1. С. X–XI), а может быть, ее прототипом служили обычные в древнерусских похвальных словах параллели между «национальными» героями — и их предшественниками в «римской стране» или в Греции (см. образчики такого рода параллелей у В. Н. Перетца: Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914. С. 212–313). <...> Как бы то ни было, «Летописец», едва взяв этот высокий тон, начинает явно фальшивить: сперва эту фальшивость можно объяснить (как это торопится сделать в примечании Издатель) его невежеством: таково неудачное припоминание «Неронов преславных и Калигул, доблестью сияющих» — двух знаменитых в истории тиранов, с которыми собирается Летописец сопоставлять глуповских градоначальников. Дальше, когда в своем «извитии словес» он пускается в сравнения, выходит еще хуже: доблестный градоначальник уподобляется гаду первой попавшейся лужи, «который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет». «Славословие» Летописца переходит уже в прямое издевательство, когда он говорит о благодарной памяти, оставленной градоначальниками в сердцах сограждан, и заканчивает свои размышления вопросом: «Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?»

Есть общие черты в манере выражать свои мысли у Павлушки Маслобойникова, смиренного архивариуса, и отставного подъячего Гегемониева. Определить природу этой витиеватой речи — дело не легкое и выходящее за пределы данной работы. Исследование это еще никем не произведено и только намечено Л. П. Гроссманом\* <...>.

Самое слово «градоначальник» не должно вводить читателя в заблуждение. Оно вызвано, очевидно, мыслью о цензуре. В официальном языке царской России слово это имело ограниченное употребление. Градоначальником называлось лицо на правах губернатора, управляющее определенной территориальной единицей, состоящей из города и прилегающих к нему местностей, входивших в состав «градоначальства». Градоначальники Глупова отчасти подошли бы под это определение. Не видно, чтобы они совершали разъезды по губернии, хотя границы Глупова вообще неопределенны, но территория власти его правителей не обширна, и когда один из них, Фердыщенко, вздумал путешествовать, ему некуда было выехать далее городского выгона. Тем не менее в «Истории одного города» слово «градоначальники» только замена слова «губернаторы». Первый градоначальник — петербургский — в официальном обиходе появился лишь в 1873 году, т. е. после напечатания сатиры. В первоначальном рукописном тексте властители Глупова, по-видимому, назывались просто губернаторами: так, сочинение Бородавкина (в «Оправдательных документах») «Мысли о градоначальническом единомыслии» называлось «Краткое размышление о необходимости *губернаторского* единомыслия, а также о *губернаторском* единодержавии и о прочем» (В. Кранихфельд. См.: Современный мир. 1914. № 4. С. 20). Характер власти глуповских градоправителей, вообще говоря, близок к власти обычных российских губернаторов, какою она стала после екатерининского учреждения о губерниях 1775 года до реформ 1860-х годов.

Автор специального исследования о губернаторской власти в царской России И. Блинов в таких выражениях говорит об этом периоде: «В учреждении о губерниях выразилось прежнее направление правительственной деятельности, все созидающей и все разрушающей. По-прежнему правительство продолжало работать за общество, от которого много было выборных, но совсем не было правящих. С одной стороны стоял могущественный коронный чиновник (губернатор), с другой — слабые общественные группы, не им было отстаивать свою независимость; на долю населения провинции по-прежнему

---

\* В статье «Россия Салтыкова». (Л. 92–94)<sup>1</sup>.

оставался главным образом удел безмолвного и безропотного подчинения» (*Блинов И.* Губернаторы: Историко-юридический очерк. СПб., 1905. С. 151).

Таковы и в «Истории одного города» отношения между градоначальником и глуповской общественностью. Если размеры власти глуповских градоначальников колеблются, если они жалуются, что у них «руки связаны» (Бородавкин) и втихомолку пишут указы «о нестеснении градоначальников законами» (он же), явно выступая против изданного в начале XIX века указа «о непроступлении губернаторами пределов *власти*, назначенных им законами» (Полное собрание законов Российской империи. № 20372), — то ведь так же точно колебалось и царское правительство в первой половине XIX века, все никак не умея определить обязанности губернатора и пределы его власти. К учреждению о губерниях понадобилось множество разъяснений и поправок: правительство Николая I все боялось, как бы губернаторы не превысили своей власти, — но боялось в то же время и ограничить эту власть какими-либо (даже дворянскими!) выборными органами. «Первое сословие» в российском государстве — дворянство — было поставлено в своей деятельности, в сущности, в рабскую зависимость от губернаторов, и поведение глуповцев при разных правителях не должно нас особенно удивлять и не должно внушать мысли о том, что под ними нельзя разуместь привилегированное сословие. «Деятельность» губернаторов при Николае I сводилась формально к подписыванию огромного количества бумаг (по сведениям 1840-х годов, в среднем губернатор должен был подписывать их около 270 ежедневно), к присутствованию, кроме губернского правления, еще в 17 учреждениях и к энергическому собиранию разных податей, недоимок и «быстрому доставлению собранных сумм по назначению» (*Блинов И.* Губернаторы: Историко-юридический очерк. С. 210). Это разнообразие занятий, постоянное совмещение в одном лице функций административной и судебной приводило к тому, что «почти каждая ревизия, каждая попытка взглянуть хотя бегло на деятельность губернаторов открывала массу беспорядков и злоупотреблений. Губернаторское управление постоянно колебалось между превышением и бездействием власти» (*Блинов И.* Губернаторы: Историко-юридический очерк. С. 249–250). Мы найдем эти колебания и у глуповских градоначальников: «бездействие власти», например у Фердыщенко, явное «превышение» у Бородавкина, у Угрюм-Бурчеева.

Намеки, рассеянные в предисловиях Издателя и Архивариуса, дают в общем ценные указания на материал и метод, каким создава-

лись образы градоначальников: в них соединены, во-первых, черты, свойственные русским провинциальным администраторам первой половины XIX века (градоначальники-губернаторы). Во-вторых, так как в истории Глупова отражались перемены, происходившие в «высших сферах», — в героях этой истории имеются и черты, присущие крупным сановникам и министрам XVIII и XIX веков. В-третьих, наконец (на это невольно намекает Архивариус своими неумеренными славословиями), в них воплощены черты отечественных «Неронов и Калигул» — российских самодержавных монархов. Великое искусство сатирика и проявилось в том, что в конечном итоге образы эти вышли не амальгамой, а цельным слепком с действительности — типами деспотизма и произвола (Л. 95–98)<sup>2</sup>. <...>

Характеристика глуповцев у Салтыкова складывается, таким образом, из комических фольклорных присловий-прозвищ (моржееды, лукоеды, клюковники, куролесы и т. п.), а с другой стороны, из нанизывания всяческих нелепых действий, приписываемых приуроченным к определенной местности («чуть-чуть в трех соснах не заблудились» — о пошехонцах: Сахаров) или не приуроченным. Присловья являются либо комическим прозвищем жителей Архангельска, Новгорода и др., либо обозначают занятие и, по существу, ничего комического в себе не содержат (клюковники), либо подчеркивают с бранным оттенком какую-либо дурную черту (головотяпы; проломленные головы; воры; лягушечники — по Далю, у Сахарова иначе, — от слова «ляга» — «лягливое животное»), либо, наконец, имеют еще и иносказательное значение, для сатирика особенно важное. Прямое значение слова «лапотник» — например, тот, кто плетет лапти, обувается в лапти; второе значение иносказательное — тот, кто путает слова или мысли: «путает, словно кашу в лапти обувает» (Даль). Долбежники, по Сахарову, прозвище новгородцев, по Далю — новгородских плотников; но вместе с тем это обозначение того, кто учит в долбежку, не вникая в смысл; губошлеп — не только человек с большими отвислыми губами, но и разиня, ротозей; вислоухий — сверх прямого значения еще и простофиля, недогадливый, нерасторопный; заугольник — двуличный, подстерегающий из-за угла, подслушивающий и т. д. (см. «Толковый словарь» Даля). Это использование переносного смысла прозвищ осложняет словесную ткань «Истории...»: любовь Салтыкова к иносказанию сказалась здесь довольно ярко, тем более что в данном случае она не была вынужденной, не являлась проявлением «эзоповского» языка.

Рядом с Далем и Сахаровым мы отметим третий источник — анекдоты и сказки о глупцах, неоднократно использованный мировой

литературой материал\*. На основе этих анекдотов выростали еще в античной древности циклы рассказов об «абдеритах» (жителях г. Абдеры во Фракии), впоследствии, в 1781 году, широко использованные в сатире на мелкобуржуазное филистерство известным немецким писателем Виландом («История абдеритов»); аналогичные во многом анекдоты немецкого фольклора уже в 1597–1598 годах были сведены в одно целое составителем так называемой «народной книги» о шильдбургерах; в Англии XVI века подобные же рассказы приурочены были к готэмитах, жителям деревни Готэма, и т. п. В русской литературе XVIII века подобную же сводку мы имеем в сборнике «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев» В. Березайского (первое издание — 1798 г., 2-е — 1821 г., 3-е — 1863 г.), который мог быть известен Салтыкову и который, как увидим, кое в чем перекликается с «Историей одного города». Может быть, не без косвенного влияния анекдотов Березайского «Пошехонские рассказы» и «Пошехонская старина» Салтыкова получили свои названия. Образы же глупых пошехонцев могли носиться перед Салтыковым при создании образа глуповцев.

«Анекдоты...» Березайского — книга в своем роде замечательная: это один из фактов использования народного (= крестьянского) фольклора еще в конце XVIII века, когда вообще, как известно, творчество «низов» еще не приобрело прав художественного гражданства в литературе. Элементы фольклорного стиля, фольклорные сюжеты уже попадали в литературу «верхов» — особенно в литературу, обслуживавшую вкусы среднего и мелкого дворянства и городского мещанства: попадая туда, они подвергались стилистической обработке, часто менявшей их внешность до неузнаваемости. Так перерабатывал былины и сказки, например, М. Чулков. Эта переработка совсем в ином плане у Березайского. С «Историей одного города» сборник роднится и самим материалом — анекдоты и сказки о глупцах, и сатирическим его использованием. Правда, у Березайского сатира направлена не только против бюрократии (что идет по линии Салтыкова), но и против судимого с точки зрения городского буржуа «простого» народа, крестьянства. Не лишено вероятия, что предрассудок о глуповцах-крестьянах, чуть ли не до сих пор тяготеющий над «Историей одного города», восходит к традиционным и привычным представлениям, которые поддерживались книжкой Березайского —

---

\* В другом месте комментария А. И. Белецкого назван так: «сказочно-анекдотический эпос о глупцах, сплетенный из мотивов международного обращения» (Л. 102) — *Ред.*

сводкой фольклорного материала о глупцах, до Березайского никем в русской литературе не сделанной.

«Похождения старинных пошехонцев» — длинная цепь нелепостей, совершаемых пошехонцами и приводящих их к полному посрамлению, причем они продолжают упорно не понимать всей смехотворности своих деяний: они не образумливаются, как не способны образумиться после всех градоначальнических «вразумлений» и салтыковские глуповцы. Ввиду малой доступности книги следует остановиться на ее содержании.

В Пошехонье прибывает новый воевода Щука, которому пошехонцы несут дары: крынку с соложенным тестом\* и лукошко с яйцами. Но глава делегации падает на пороге: тестом и яйцами он обмазал воеводу, а вместо приветствия произносит проклятие, по недомыслию подхваченное его спутниками. Воевода прогоняет делегатов с позором. Пошехонцы пробуют исправить свою вину ежедневным подношением воеводе громадной щуки: они не замечают, что покупают для этого всегда одну и ту же щуку, цена на которую все растет, так как воевода сбывает поднесенную рыбакам, а те вновь продают ее пошехонцам. От домочадцев воеводы они узнают, что есть чудный город Москва и лезут на ель на него посмотреть. Ничего не видя, решают, что видеть мешают ветки: рубят их и в конце концов падают на землю и расшибаются. Затем собираются идти в Москву: по дороге встречают егеря, принимая его за лешего; покупают у него за большую цену ружье, набивают дуло порохом и стреляют. Ружье разрывается, многие пошехонцы убиты. Желая поест, замешивают тесто в реке; тесто тонет, они посылают за ним на дно несколько человек, навязав им по тяжелому камню. Переправляясь через реку, садятся верхом на стволы, связав себе ноги: стволы переворачиваются, пошехонцы тонут. Оставшиеся в живых возвращаются домой, не повидав Москвы. Покупают у проезжего торговца средство от блох: надо высушить в печке сено, растереть его в порошок и, поймав блоху, засыпать ей этим порошком глаза. Некий мошенник берется высидеть им цыплят: он съедает яйца, а овин, где его посадили в качестве наседки, сжигает. Не знакомые с табаком, пошехонцы возмущены, что солдаты курят; после ухода солдат, найдя рог с порохом, принимают его за табак и бросают в печь: сгорает целая деревня. Пошехонец, увидя на крыше траву, втаскивает туда корову, чтобы попаслась; корова проваливается и издыхает. В Пошехонье не знают серпов;

---

\* «Соложеное тесто — знаменитое калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым» (Даль). — *Примеч. А. И. Белецкого.*

какие-то чужие люди нажали ржи на пошехонских полях, увезли снопы, а серп позабыли; пошехонцы, принимая его за червяка, хотят сбросить его в реку; но привязанный за веревку серп зацепился за куст, его сильно дернули, он взвился, упал на шею пошехонцу и отрезал ему голову. При спуске в воду к серпу привязывают жернов; брошенный с лодки, он зацепился за край, перевернув лодку, сидевшие в ней утонули. Забредшие в Пошехонье голодные коновалы варят похлебку из камня; пошехонцы настолько увлечены этим невиданным кушаньем, что приносят различные продукты; похлебка выходит на славу, а они убеждены, что все дело в камне. Пошехонец, отбывая военную службу, стоит на часах: слышит тиканье часов, принимает их за врага, разбивает; видит свое отражение в зеркале — происходит та же история. Поехав на ярмарку, пошехонцы проезжают мимо помещичьего дома: видят трубочиста, спускающегося в трубу, принимают его за нечистого духа, врываются в помещичий дом, поднимают суматоху, выгоняя черта: избитые, возвращаются домой. По дороге пьют водку, один опьянел: пошехонцы, решив, что в него вселился нечистый, платят мошенникам большие деньги за изгнание беса. Пошехонец, заметив, что цена на лапти зависит от размера, делает лапти величиной с лодку и вывозит их продавать на базар. Попадают пошехонцы и в Петербург: один выдает себя за бывалого в городе: ест сам и убеждает спутников есть лимоны, принимая их за яблоки; входит на галерею, устроенную для знати, присутствующей на празднике разбивки Выборгского городка, но выгнан оттуда и избит квартальным. Пошехонцы охотятся на медведя; один из них лезет в берлогу, обвязавшись веревкой; когда он за нее дернет — его надо тащить обратно: пошехонцы вытаскивают назад безголовое туловище. Затем они бьются с медведем врукопашную; многие пострадали, но остальные чрезвычайно довольны своим геройством.

Между этим бессвязным нагромождением повествовательных мотивов и главой «О корени происхождения глуповцев» общее только одно: то и другое сложено из одного камня — из «бродячих», международных мотивов о глупцах. Втаскивание коровы на крышу, замешивание теста в реке, переправа верхом на бревне, высиживание яиц и т. д. — все это общие места фольклора о глупцах. Салтыков мог пользоваться им непосредственно — из рассказов, слышанных еще с детства. У Березайского, возможно, были иностранные источники. Но для нас в данном случае интересна не регистрация аналогий, а характер использования фольклорного материала. И Березайский, и Салтыков подходят к нему с целями сатирическими. Разумеется, степени сатирического напряжения сравнивать не приходится:



у Березайского можно отметить лишь некоторый налет социальной сатиры — и только. Она направлена отчасти против бюрократии (эпизод со щукой) и против крестьянства. Первая линия родственна сатире Салтыкова: гротескная ситуация поднесения пошехонцами воеводе даров, одурачивание их и опустошение их кошельков, пожалуй, во вкусе Салтыкова так же, как и все описание воеводства Щуки, которая так старалась «о чистоте, благоустройстве и славе Пошехонья, что через месяц ее воеводства по всем обывательским клетям, житницам, хлевам и подизбищам все стало так гладко, так вычищено, прибрано, словно ладонь на приказчиьем гумне, хоть яйцом покати. Разве уж кто по чрезвычайной лености не выносил своего сору из дому, а прятал где-нибудь в укромном месте. Чего другого, а нерях сыщешь вдоволь во все времена и веки. Однако же надобно сказать и то, что таких неопрятниц при попечительной Щуке очень было немного» (изд. 1821 г. С. 43).

Сатира на крестьян, разумеется, не имеет ничего общего с материалом «Истории одного города», хоть психологический тип пошехонцев и глуповцев как будто бы однороден: они глупы и самомнительны, не видят, что все их дурачат и обогащаются за их счет, вечно напуганы, постоянно биты и т. д. Но у Салтыкова крестьянский быт, как мы знаем, только одеяние; у Березайского — это настоящая и единственная сущность его героев, живущих в избах, ходящих в лаптях, считающих чудом не только Москву, но и всякий город. Это глупцы беспросветные, темные люди, вредящие себе самим на каждом шагу, из глупого самохвальства идущие на верную гибель. Над ними тешатся воевода, помещик, солдаты, а еще чаще люди какой-либо определенной профессии — коновалы, кузнец, егерь и т. д. Автор «Анекдотов...» отнюдь не стоит на позициях дворянской литературы: высмеивая мужицкую темноту и невежество, он не прочь при случае задеть и дворянина, и дворянскую «культуру». По поводу Ванюхи, который выдает себя в Петербурге за горожанина, автор иронизирует: в Петербурге Ванюха «стал смелее, веселее, важнее, живее — выступает мерно, держится как будто стопочка, смотрит прижмурясь, недоставало одного только лорнета, модного фрака, пуховой шляпы, шелковых чулков и серебряных пряжек и еще кой-каких безделиц. О! да кабы ему эти прикрасы, то совсем бы господчик, совершенный петиметр» (Там же. С. 161–162).

По своему положению в обществе Березайский, по-видимому, был разночинцем. На празднестве по случаю разбивки Выборгского городка для него тоже нет места на дворянской галерее: он стоит среди простого народа. Высокомерие мелкого буржуа по отношению

к темному крестьянству вполне понятно. У Салтыкова, как известно, не было слепого преклонения перед «народом»: темные черты крестьянства он видел. В антикрестьянской сатире Березайского нет никакой злости: в конце концов его пошехонцы незлобивы и вредят только себе самим. Произведение Березайского примыкает к опытам реалистической буржуазной литературы XVIII века: оно по-своему демократично. Автор посвящает свою книжку нянюшкам и мамушкам, хранительницам сказочного богатства, обрядов и суеверий; рассказывая, он стремится в своем языке сохранить и воспроизвести черты народного северно-великорусского цокающего говора (см., например, с. 179–180 того же издания). Отметим еще одну черточку, общую с Салтыковым: действие своих историй Березайский отодвигает в далекое прошлое, повествуя будто бы о «старинных пошехонцах», но достаточно ясно давая понять, что он имеет в виду не прошлое, а настоящее. «В Ярославской губернии, при реке Согоже, обитал древле народ, именуемый пошехонцами и управляемый по тогдашним обычаям воеводами. Столица их и ныне пребывает на том же местоположении и под тем же известна именем; но жители совсем стали не те; они так переродились, что ни на волос не походят на своих предков. От перемены климата или от сообщения с другими народами это происходит — я ни того ни другого, хотя и знаю, не утверждаю, ибо нам в этом нет большой нужды... Сколь счастливы на выдумки, ловки, развязны, толковы, расторопны были оные древние пошехонцы, покажет следующее» (с. 27). Эти «древние» пошехонцы в дальнейшем, как мы видели, приводятся автором в современный ему Петербург, где он наблюдает их непосредственно.

«Анекдоты...» Березайского — лишь первоначальный этюд, проба пера разночинно-демократической русской литературы. Это еще робкие неопределенные шаги, но они сделаны уже по тому пути, по которому надобно направиться, чтобы в конце его попасть в город Глупов салтыковской сатиры (*Л. 104–111*)<sup>3</sup>. <...>

После периода междоусобий, после страшных стихийных бедствий, обрушившихся на Глупов за грехи бригадира Фердыщенко, после походов Бородавкина, после того, наконец, как Негодяев испробовал на глуповцах методы управления Россией императора Павла — в истории глуповцев, совсем было одичавших от вечного испуга, наступает, без каких-либо усилий с их стороны, временная передышка.

Причины ее остаются невыясненными. По мнению Летописца — «начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение,

обратившиеся в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить». Ходили слухи о «попытках конституционного свойства»: слухи, недостаточно проверенные, но все же более достоверные, чем предположения о конституционализме Двоекурова. Пусть первый преемник Негодяева Микаладзе о конституциях имеет понятие столь же смутное, как и его предшественник; пусть второй — Беневоленский — только мечтает о конституции в обществе купчихи Распоповой и делает к ней лишь предварительный шаг, пусть третий — Прыщ — вообще предпочитает быть в стороне от «новых законов» — все же все они, каждый по-своему (даже Прыщ, отрицающий это), либералы на глуповском троне — явление, до сих пор в истории Глупова не имевшее прецедентов.

В истории русского самодержавия правительственный либерализм и попытки «конституции сверху» имели место несколько раз: в начале царствования Екатерины II, в пору составления императрицей «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения» (1767), в первые годы царствования Александра I (до 1811 года) и, наконец, при Александре II, например, когда в 1863 году, под разнообразным давлением дворянских партий (правой, крупноземлевладельческой, и левой, «либерально-демократической» из средних и мелких землевладельцев), министром внутренних дел Валуевым был подготовлен проект «нового учреждения государственного совета» с выборным «Съездом государственных гласных» при нем. Салтыкову были известны все эти попытки: прикровенные намеки на них мы найдем в разбираемой главе — не менее других свободной по отношению к реальному фактическому материалу и так же, как другие, не меняющей никогда стиля сатиры на стиль памфлета.

«Конституция» Микаладзе, если не говорить о ее, так сказать, негативной стороне (о прекращении «просвещения» и законодательства), выразилась в том, что «квартильные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватили за воротник». По поводу этого новшества Летописец входит в рассуждение о преимущественной справедливости двух теорий: одна предлагает сперва приучить народ к учтивому обращению, а затем уже, смягчив его нравы, давать ему «настоящие якобы права»; другая полагает, что лишь снабдив людей «настоящими якобы правами», возможно утвердить на прочной основе учтивое обращение и добиться смягчения нравов. Осторожно склоняясь в пользу второй, повествователь предпочитает оставаться при мудром мнении «военачальников» о том, что к теориям следует относиться с недоверчивостью.

В иносказательной форме этого рассуждения затронут вопрос, неоднократно ставившийся и обсуждавшийся русскими либералами и реакционерами из дворян. Что, в самом деле, чему должно предшествовать? «Смягчение нравов» — или «дарование прав»? Что прежде: поднятие ли культурного уровня опекаемого народа или реформа общественного строя?

Идеологи русского... дворянства еще в первой половине XIX века категорически настаивали на том, что сперва нужно реформировать «человека», а уже потом учреждения. Так, Карамзин в своей «Записке о древней и новой России», представленной Александру I в 1811 году, убеждал царя думать более о людях, нежели о формах. Так, Гоголь в 1840-х годах в «Выбранных местах из переписки с друзьями» проповедовал, что в душе человека «ключ всего», что «душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделаешь ничего» (глава XVIII). Накануне крестьянской реформы Унковскому — депутату от тверского губернского комитета в так называемую редакционную комиссию — в докладной записке, разошедшейся в копиях по рукам, еще приходилось оспаривать мнение тех, кто полагает, что «зло — не в системе, а в людях», доказывая, что для искоренения зла даже у дворянства нет возможности в виде каких-либо реальных прав (см. выдержки из этой записки, например, у Н. И. Иорданского. — Конституционное движение 60-х годов. 1906. С. 74 и след.). <...>

Микаладзе теоретизированием такого рода и не занимается. Требуя от квартальных учтивости, он подает им пример благородства манер и благовидностью собственной внешности. «О благовидной господ градоначальников наружности» им составлен особый трактат, досказавший недосказанное «Старым котом на покое» — одним из героев серии «Помпадур и помпадурши»... Помпадур, состоящий в законном браке, вероятно, не стал бы распространяться насчет политической полезности секретного общения с женским полом — о чем, хотя бы и для отвода глаз (см. комментарии Летописца), много говорит Микаладзе. Напротив, любимую мысль помпадура о всегдашней виновности обывателей (ср. у Гоголя в цит. главе «Выбранных мест»: «вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других: есть безвинно-виноватые и виновно-невинные») вместе с тирадой о мероприятиях и т. п. — автор отдал Бородавкину, поместив их в записке о единомыслии. К Микаладзе даже такая «философия» не идет. Микаладзе — весь в своей внешности. Еще немного, и он превратился бы в вежливо улыбающийся автомат (в своей записке он

придумал для градоначальников и костюм, весьма подходящий для балагана), противоположный свирепому автомату Брудастому. Но так как роль благодушной куклы отведена Прыщу, то за Микаладзе пришлось сохранить некоторые черты живого человека («живой куклы»), например «неудержимое стремление к женскому полу», вовлекшее его однажды в неудачное амурное приключение, впрочем, без серьезных последствий.

Иных событий его правление не знает. «Рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории», — изрекает по этому поводу Летописец. Любопытно отметить мимоходом, что сходной сентенцией начал в 1866 году свою приветственную речь американскому посольству вице-канцлер Горчаков. «Говорят, что добрые царствования — белые страницы истории» и т. д. (*Татищев С. С.* Александр II. Т. 2. С. 14).

Гораздо больше внимания уделил Салтыков преемнику Микаладзе — Беневоленскому, наиболее разработанному образу XI главы.

Метод создания тот же, что уже был замечен нами в других случаях. «Исторической маской» здесь является фигура Сперанского, известного государственного деятеля первой половины XIX века, статс-секретаря Александра I. По поручению царя Сперанский составил план государственного переустройства России, преобразуемой из крепостнического государства в буржуазную монархию со строго цензовой конституцией. ...Ненавидимый дворянской знатью, под ее давлением Сперанский был сослан «за измену» Александром и возвращен Николаем, поручившим ему для пробы составление обвинительного акта против декабристов. С 1826 по 1833 год, выполняя другое задание царя, Сперанский проделал огромную работу собрания и издания «Полного собрания законов» (45 томов, 48 частей, 35 933 законодательных акта, начиная с 1649 года) и выборки действующих законов — т. н. «Свода законов» в 15 томах. <...>

«Маска» Сперанского, надетая на Беневоленского, у Салтыкова сделана маской комической. Указание на историческую аналогию глуповскому градоначальнику в данном (и единственном) случае сделано сатириком почти открыто. В начале главы Беневоленский назван другом и товарищем Сперанского по семинарии, — отрывок из письма к «известному другу» вновь сопровождается ссылкой на Сперанского, а к отрывку из письма в журнальном тексте было сделано примечание: «Справедливость требует засвидетельствовать, что многие выражения этого письма предвосхищены Беневоленским из переписки Сперанского с Цейером (Русский архив. 1870. № 1)».

В «Русском архиве» Бартенева, в указанном Салтыковым месте, действительно помещен ряд писем Сперанского к Ф. И. Цейеру\* — по большей части мистико-богословского содержания. Салтыков использовал их мистическую фразеологию, перенося ее в область юриспруденции.

Беневоленский пишет о «средних законах», являющих собою «*сумрак законов*»: «Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем именно состоит это общение — не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает».

Сравним эту тарбарщину с соответственным местом письма Сперанского о том, как для верующего «раскрывается Царство Божье». «Никто не может описать вам его, ни дать о нем понятие. Его чувствуешь, но оно несообщимо... Тогда-то вступаешь в *сумрак веры*». Вступление это сопровождается состоянием «собственно мистического богословия». «Наставник в нем сам Бог, и он сообщает свое учение душе непосредственно, без слов, и способом, который невозможно объяснить словами. Это богословие мистическое не потому, что оно включает в себе тайны, сокрытые от толпы, но потому, что чувства, возбуждаемые им в душе, и истины, им раскрываемые, совершенно несообщимы. Это апокалипсическое письмо, которое может прочесть лишь тот, кто его получает» (Русский архив. 1870. № 1. С. 177).

В «Описи градоначальникам» сообщалось, что Беневоленский «в свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского». Это — опять Сперанский, в 1803 году начавший перевод книги аскетического писателя XV века Фомы Кемпийского «Подражание Христу» и закончивший его в пору своей опалы — во время губернаторства в Пензе. Сперанский сочинял и проповеди (см.: *Филарет*. Обзор русской духовной литературы. Изд. 3-е. 1884. С. 455), и хотя не оставил специального руководства, как их произносить, но составил и издал

---

\* Франц Иванович Цейер (1780–1835) — друг Сперанского. В журнальном тексте «Истории...» к этим словам было дано примечание: «Справедливость требует засвидетельствовать, что многие выражения этого письма предвосхищены Беневоленским из переписки Сперанского с Цейером» («Русск. архив», 1870, № 1). — *Изд.*». В «Истории...» Салтыков не раз пародийно использует переписку Сперанского с Цейером.

«Правила высшего красноречия» (1844) — для ораторов вообще, в том числе и церковных. «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», сочиненный Беневоленским и являющийся, по его мнению, первым шагом к конституции — подобно «Плану» Сперанского — есть также попытка «учредить державную власть на законе не словами, а самим делом» (слова Сперанского). <...> Подобно Сперанскому, Беневоленский обвинен в сношениях с Наполеоном и сослан в «тот край, куда Макар телят не гонял», т. е. в Сибирь, как и Сперанский.

Все эти параллели не дают, однако, нам права утверждать, что в Беневоленском изображен Сперанский. Исторических портретов вообще нет в «Истории одного города». Мы видим только, что для создания «исторической маски» Беневоленского автором сатиры использован ряд деталей из биографии Сперанского, и только. <...> Сперанский — явление настолько сложное и противоречивое, что было бы легкомыслием упростить его до степени глуповского законодателя. Салтыков мог читать о Сперанском биографическую работу М. А. Корфа («Жизнь графа Сперанского», 1861), не выходящую за пределы сводки материала, но рядом с нею Салтыков, конечно, читал и вызванную ею статью Чернышевского «Русский реформатор» в «Современнике» (1861. № 10), где дается в общем положительный отзыв о личности «русского реформатора». «В Сперанском, — говорит Чернышевский, — не было от природы ни одной пошлой черты. Ни на одного из русских государственных деятелей не клеветали столько, как на него; а по разбору фактов он оказывается человеком очень редкого природного благородства» (С. 219). Отмечая, что враги Сперанского называли его революционером, Чернышевский прибавляет: «Характеристика, взятая нами из книги барона Корфа, показывает, что этот отзыв врагов Сперанского не был совершенно безосновательною клеветою», что, действительно, план задуманного им преобразования был огромен, хоть, не понимая средств своих для осуществления этого плана, Сперанский допустил ошибку и остался только увлекающимся, непрактичным мечтателем. «... Такие люди смешны, их обольщения мелочны; но они могут быть вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах».

Салтыков был, думается нам, далек от мысли упростить этот образ, сложность которого вскрыта Чернышевским с полным беспристрастием. Между Беневоленским и Сперанским не должно ставить знака равенства. Образ Беневоленского, конечно, шире, чем индивидуальный образ Сперанского.

Беневоленский, как и Сперанский, — «законодатель». Только у Беневоленского эта черта превратилась в совершенное маньячество.

Его мучит «законодательный зуд» — вроде того, что в 60-х годах охватил и провинциальную, и столичную бюрократию. Известный дворянский деятель и публицист славянофильского лагеря Ю. Ф. Самарин в это время в одном из писем жалуется: «На вершине — законодательный зуд в связи с невероятным и беспримерным отсутствием дарований» (*Татищев С.С.* Александр II. Т. I. С. 400). Издаваемые Беневоленским законы — совершенное «искусство для искусства». Практическое применение их его мало интересует, да многие из них и не могут иметь практического применения. Таким «искусством для искусства» являлись и большая часть «либеральных» законов, издававшихся русскими самодержцами. Отношение Салтыкова к этому правительственному либерализму достаточно характеризуется гениальным штрихом — заключительным пунктом «Устава о свойственном градоправителю добросердечии», сочиненного Беневоленским: «В остальном поступать по произволению» — по существу аннулируюшим всю предыдущую либеральную маниловщину. <...>

Беневоленский, по-видимому, читал «Наказ» Екатерины и форму его выбрал одним из образцов для своих законодательных актов. И не одну только форму. Вспомним, как он определяет конституцию: «смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да поживает». В 39-м пункте «Наказа» сходным образом определена «государственная вольность»: она есть «спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них [граждан] собственною наслаждается безопасностью»\*.

Когда в пункте 6-м «Устава о добросердечии» (см. «Оправдательные документы») Беневоленский рекомендует провинившегося обывателя «не тотчас усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли на него российских законов действие и покровительство» — он явно руководится 8-й главой «Наказа», рекомендующей тоже не «вести людей путями крайними» (п. 87), «возвращать заблудшие умы на путь правый правилами Закона Божия, любомудрия и нравочения» (п. 97) и т. д.

Комическая сторона «законодательства» Беневоленского заключается в том, что по существу он не имеет права издавать никаких законов. Его ходатайство о превращении Глупова в «область второзакония» встретило косвенный отказ высшей власти. Свои законы он должен, крадучись, в темную ночь, разбрасывать по улицам, как не-

---

\* Ср. в манифесте Александра II, 1856: «и каждый, под сению законов, для всех равно справедливых, да наслаждается в мире плодом трудов невинных». — *Примеч. А.И. Белецкого.*



легальные прокламации. В 1870 году законодательная деятельность губернатора была шаржем, выдумкой сатирика. Даже Бородавкин и тот лишь втихомолку может писать свой знаменитый устав «о нестеснении градоначальников законами»... И у него в этом отношении «руки связаны», как до него в 1864 году связаны они у одного из «помпадуров» Митеньки Козелкова («я говорил и повторяю: если вы желаете, чтоб мы дело делали, развяжите нам руки»: см. «Она еще едва умеет лепетать»)...

Даже в 1872 году вопрос о законодательной деятельности губернаторов только поставлен в числе прочих — в проекте «О необходимости децентрализации» отставного корнета Петра Толстолобова, приводимом в «Дневнике провинциала...»: «Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать правила и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла».

Но Салтыков настолько хорошо знал природу самодержавно-бюрократического строя, что самые смелые его «фантазии» оказывались оправданными, иногда неожиданно для него самого, жизненной практикой близкого будущего. В 1876 году губернаторам и на самом деле было дано право издания обязательных для жителей постановлений, «в видах правильного и успешного исполнения, сообразно с местными условиями, узаконений об общественном благочинии, безопасности и порядке» (*Блинов И.* Губернаторы: Историко-юридический очерк. С. 322). Салтыков сам изумился своему «пророческому дару». «...Делается почти страшно жить на свете», — писал он об этом Некрасову (13 окт. 1876 г. <...>), вспоминая своего Беневоленского. «...Издается постановление, — писал он тогда же и П. В. Анненкову, — в силу которого губернаторам предоставляется право писать законы. Вы, может быть, пропустили этот факт без внимания, а, право, он достоин того, чтобы над ним задуматься. У меня был изображен помпадур, имевший страсть к законодательству и писавший средние законы, между прочим, «Устав о печении пирогов»... теперь этот помпадур будет воспроизведен в самой жизни. Так-то жизнь иногда идет наперебой и самой невероятной сатире. Кто мог думать, что я в этом случае буду пророком, а вот однако ж вышло, что я все это предвидел и изобразил» (<...> 1 ноября 1876 г.).

В законодательных мечтаниях и актах Беневоленского, вероятно, найдется не один прикровенный намек на те или другие предначертания русских «Ликургов» и «Драконов» XVIII–XIX веков, но рассмотрение этого вопроса — задача, выходящая за рамки нашей работы. «Изданные им законы в настоящее время... действия не имеют». Конец Беневоленского повторяет судьбу почти всех «конституци-

оналистов» из русской высшей бюрократии. После Сперанского, в 1866 году, отчасти за свой проект нового Государственного совета, должен был выйти в отставку Валуев: еще позже, но при жизни Салтыкова, за свои конституционные предложения поплатился отставкою Лорис-Меликов. И подобно тому как арест Беневоленского не произвел ни малейшего впечатления на неблагодарных глуповцев, так и все эти отставки проходили при полнейшем равнодушии так называемого «русского общества». Во время своего пребывания в Сибири с 1819 по 1822 год Сперанский пробовал провести ряд реформ в «гуманном, социально-филантропическом направлении». Но, по словам современников-сибиряков, «законы Сперанского приняты были спокойно, но толков от них не было, да и следов они не оставили никаких». «А после него все пошло по-старому» (см.: *Щапов А.П. Сочинения. 1908. Т. 3. С. 16*).

У Беневоленского, во всяком случае, есть оправдание, что его законодательная деятельность не мешала глуповцам «тучнеть». Однако наибольшего своего благополучия они достигли при его преемнике Прыще, с повествованием о котором мы вновь переходим в область чистого гротеска.

Правление Прыща — золотой век Глупова, пришедший, правда, с большим опозданием. Это воплощенная утопия, подобная той, которая еще раз будет рассказана в сходных чертах в одном из очерков серии «Помпадуры и помпадурши» («Единственный», 1871). Теория Беневоленского о благополучном почивании обывателей в домах осуществилась на практике. И пчеловодство, и кожевенное производство, и земледелие поднялись на невероятную высоту. «Хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление».

<...> Неожиданно проявившийся в глуповцах дух анализа подорвал благополучие Глупова. Оказалось, что у градоначальника голова не настоящая, а фаршированная, и притом даже не «предписаниями начальства», а вкусными трюфелями, соблазнившими предводителя дворянства, который и съел в конце концов градоначальничью голову.

Административное «благодущие», оказывается, так же не требует наличия в головах администраторов человеческих мозгов, так же независимо от того, имеет ли данный правитель мыслительные способности, как и административная строгость и непреклонность. В конце концов, как писал еще в 1857 году Салтыкову Павлов... дурак без музыки много сноснее дурака с музыкой. Отсутствие мозгов в голове подполковника Прыща и послужило причиной вершинного благосостояния города Глупова. Фаршированная голова оказалась

самым идеальным правителем, какого глуповцы не знали ни до нее, ни после (Л. 209–222) <sup>4</sup>.

<...> По содержанию последняя глава «Истории одного города» распадается на четыре части. Первая дает общую характеристику Угрюм-Бурчеева, сообщает данные из его биографии, связывает его личность с определенным течением («школой») в истории русской административной власти. Вторая — разворачивает картину «систематического бреда», возникшую в голове «фанатического нивеллятора» утопию идеального города, каким должен был стать Глупов. Третья повествует о разрушении старого города, о борьбе с природой — рекой, вставшей неожиданным нарушением идеала «прямой линии». Четвертая сообщает о начавшемся среди глуповцев брожении, дающем повод к экскурсу в историю глуповского «либерализма», о внезапном «прозрении» глуповцев и о страшных событиях, после которых «история прекратила течение свое». <...>

Но грубость, бесцельная жестокость, педантический формализм, мелкое тщеславие Аракчеева — все это тонет без остатка и стирается в символическом образе глуповского градоначальника. Аракчеев — все же человек, одержимый страстями и страстишками и отнюдь не упразднивший в себе самом «естества». Его формализм и его страстишки слишком типичны для определенной общественной группы в определенную эпоху. Салтыкову нужно было нечто иное. И образ исторического Аракчеева был им использован лишь как трамплин, от которого он оттолкнулся для подъема в область широкого обобщения. Таким же трамплином послужили для него материалы о военных поселениях. «Систематический бред» фанатического нивеллятора — отнюдь не изображение этих поселений, хоть в передаче его то и дело мелькают напоминающие об исторической реальности детали. <...>

Значит ли все это, что мы должны поставить знак равенства между Угрюм-Бурчевым и созвучным ему по фамилии Аракчеевым? Отнюдь нет.

«Нивелляторство» Угрюм-Бурчеева не есть, с точки зрения Салтыкова, черта, присущая определенному отрезку времени и связанная с деятельностью определенного исторического лица. <...> ... «угрюм-бурчеевщина» выходит и за рамки николаевской эпохи. В 1863 году в крепости Чернышевский дописал свой роман «Что делать?», в знаменитом «четвертом сне Веры Павловны» разворачивавший идеальную картину будущего человеческого общежития, которое явится результатом приложения к жизни теорий Фурье. «Систематический бред» Угрюм-Бурчеева — тоже идеальная картина будущего общества, только во всем, до малейших деталей, противоположная радужной

мечте Чернышевского. Это «правительственный социализм» эскадронных командиров, являющихся «коммунистами» навыворот. По учениям католических богословов эпохи феодализма, «ад» устроен наподобие «рая», и сам Сатана именуется ими «обезьяной Господа Бога». Нечто подобное мы имеем и здесь. Утопический социализм мечтает о гармоническом развитии человеческого существа, о праве всех и каждого на работу, ставшую радостью, и на счастье; угрюм-бурчеевская «уравниловка» мечтает об «упразднении естества», об уничтожении человеческой личности, равняет всех в рабском труде, нравственном и физическом истязании. Аракчеевское нивелиаторство военных поселений стало уже историческим воспоминанием, но для самодержавия это воспоминание не умерло; идеал «казармы», хоть и недостижимый, носился в его мечтах и попытки к нему приблизиться не прекратились.

<...> ...переворот, готовый произойти, изображается им (Салтыковым. — *Ред.*) в тонах мрачных и устрашающих. Ничего подобного той «даме в ярком розовом платье», в которой символизировал в 1863 году преисполненный оптимизма Чернышевский русскую революцию в романе «Что делать?» (*Л. 257, 262, 267, 268–269, 276*)<sup>5</sup>.

